

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЦУРИБ

Роды у Фазилат начались в самую ненастную ночь уходящего года.

Шуше уже укладывалась спать, когда услышала настойчивый стук, приглушенный неумолчным завыванием ветра и жалобным скрипом потолочных балок — привычными звуками, которые одни только и помогали Шуше уснуть: в последнее время она мучилась бессонницей.

Накинув поверх рубахи овечью шаль и наспех обвязав голову платком, Шуше сунула ноги в растоптанные чувяки, взяла керосиновую лампу и пошла открывать.

В сенях стоял жуткий холод. Сквозь щели в неплотно пригнанных, местами прогнивших досках задувал сквозняк. Висевшая на гвозде накидка задубела от мороза. Вой ветра здесь звучал еще неистовей, словно предсмертные стоны подстреленного волка.

Все открытые части тела Шуше в сенях мгновенно замерзали, но хуже всего приходилось ногам: если на них не было двух пар толстых шерстяных носков, Шуше казалось, будто она опустила ступни в таз с ледяной водой. По этой причине Шуше не

любила сени: или теплый дом, или уж двор, куда она, по крайней мере, выходила как следует закутанная.

Отодвигая щеколду, Шуше уже знала, кто там, за дверью: или Сабира, или Малика. В такую ночь она могла понадобиться только Мяршоевым. Но она не угадала: за ней пришел Цевехан.

— Пойдемте, Шуше Наврузовна! — выбивая зубами чечетку и пытаясь перекричать ветер, взмолился мальчик. — Очень надо.

Снегопад с обеда еще усилился; снег теперь валит сплошной завесой, такой плотной, что сквозь нее было не разглядеть каменную кладку забора в двух метрах от крыльца.

— Зайди, — сказала Шуше.

Прежде чем переступить порог, Цевехан Мяршоев отряхнул себя от снега, которым был заметен весь, от шапки до ботинок. Нос у него покраснел, глаза слезились. Он притоптывал ногами и прятал ладони под мышками, пытаясь согреться. Латаный тулупчик с куцым воротником и оторванной верхней пуговицей не мог уберечь Цевехана от холода в такую непогоду.

Шуше и сама дрожала, хотя не бежала почти четверть часа по скованным предновогодней стужей извилистым улочкам горного аула. У нее мелькнула мысль пригласить Цевехана на кухню, но тот в свои тринадцать лет уже считался мужчиной, а в доме спали девушки. По-хорошему, Шуше не должна была стоять перед Цевеханом в одной рубашке и шали. Почтенный возраст вкупе с ремеслом давали ей некоторые послабления в глазах односельчан, но не пред очами Всевышнего, чьи заповеди она истово чтит.

— Давно началось? — спросила Шуше, стягивая шаль на плоской, давно иссохшей груди.

— Кажется, часа два назад, — пробормотал Цевехан, стыдливо опустив глаза.

Шуше почувствовала глухое раздражение. Почему не прислали Малику? Хотя та и не замужем, да и вообще умом не блещет, все же могла бы хоть что-то рассказать о состоянии Фазилат.

Как ей, скажите на милость, расспрашивать Цевехана? Как задать хоть один вопрос этому без пяти минут мужчине, пусть пока и в детском обличье?..

Ох, и выскажет она все Сабире Мяршоевой. Дайте только до нее добраться!

— Иди домой. Скажи матери — скоро буду.

— Айбала тоже придет? Мама очень просила, чтобы Айбала непременно...

— Иди! — резко сказала Шуше.

— Спасибо, Шуше Наврузовна. Извините, Шуше Наврузовна!

Мальчик скатился по ступенькам, превратившимся в крутую снежную горку, и исчез в мглистой пелене.

После ледяных сеней натопленный дом казался раскаленным горнилом печи. Скинув шаль и чуваки, Шуше, держа лампу в вытянутой руке, на цыпочках прошла через проходную комнату, где спал, выводя замысловатые рулады, ее муж Джавад, и вошла в спальню Айбалы и Меседу.

Шуше прислушалась к размеренному дыханию младших дочерей. Обе, умаявшись за день по хозяйству, засыпали мгновенно, едва их головы касались сложенных вчетверо джутовых мешков, заменявших подушки. В комнатке не было ничего, кроме продавленного топчана и молельного коврика Меседу. Одежда сестер, развешанная на вбитых в стену гвоздях, напоминала раскинувших черные крылья

хищных птиц. Стекло узкого оконца, выходявшего на глухую стену заднего двора, было залеплено снегом.

— Айбала, — тихо позвала Шуше и повторила чуть громче. — Айбала!

Девушка тут же открыла глаза — сон у нее, в отличие от сестры, был очень чутким. Осторожно, чтобы не потревожить спящую Меседу, она откинула покрывало, сползла с топчана и одними губами спросила:

— Фазилат?

Шуше кивнула, вышла из спальни, вернулась в проходную комнату. Быстро, стараясь не шуметь, оделась: нижнее платье, шаровары, верхнее платье, вязаная кофта, хлопковая косынка, теплый платок, пальто. Но Джавад все равно проснулся. Сел, недовольно хмурясь, провел ладонями по лицу, расправляя глубокие борозды морщин и приглаживая растопыренные в разные стороны усы. Через вырез исподней рубахи виднелась поросшая жесткими седыми волосами грудь.

— Позвали? — спросил он.

— К Мяршоевым. У их невестки срок подошел.

Шуше сняла с полки всегда стоявшую наготове холщовую сумку, запустила в нее руки, ощупью проверила содержимое.

— Айбалу берешь с собой?

— Она одевается. Спи, мы нескоро вернемся. Может, только к утру.

Джавад проворчал что-то и улегся и через минуту уже снова храпел.

Айбала оделась как подобает: во все темное и закрытое. Юбка в пол, кофта с длинными рукавами, наглухо повязанный платок. Шуше взглянула на дочь и в который (должно быть, в тысячный) раз

поразила ее некрасивости. И в кого только такая уродилась? Смуглое широкоскулое лицо, крючкова-тый птичий нос, темные бусины глубоко посажен-ных глаз, придающие ей еще большее сходство с печальной птицей, тонкие бескровные губы. И, словно этого мало, непомерно высокий рост, несуразно длинные руки и ступни такого размера, что даже ботинки Джавада, не говоря уже о чувяках сестер, были Айбале малы — приходилось тратиться для нее на персональную обувь, благо Анвар-башмач-ник, который давно овдовел и не особо управлялся по хозяйству, в летние месяцы брал овощами с ого-рода, а зимой — киззяками.

Может, из-за своей внешности засиделась Айба-ла в девках, а может, из-за странного своего дара, слух о котором вышел уже за пределы аула и разо-шелся по округе. Она умела утишить боль — не за-говорить, а именно приглушить, сделать не такой нестерпимой, что особо ценили роженицы, которые и рожать-то теперь отказывались без Айбалы. Ей достаточно было положить руки на больное место, и боль отступала. Конечно, не насовсем, но хотя бы давала передышку — от нескольких минут до не-скольких часов. Разумеется, до мужчин Айбалу не допускали, да она и сама не позволила бы себе при-коснуться ни к одному из них, хотя и не была такой набожной, как Меседу.

В общем, за пять лет, прошедших с начала брач-ного возраста Айбалы, к ней так никто и не посватал-ся. Джавад, правда, хотел выдать ее за Анвара-баш-мачника, но Шуше воспротивилась. Меседу скоро шестнадцать, не сегодня-завтра засватают, а если и Айбалу отдать, останутся они на старости лет одни с хозяйством, а это и огород, и овцы, и корова. Может,

и к лучшему, что из четырех дочерей одна уродилась некрасивая: коли уж Аллах не послал им сына, пусть хоть Айбала частично этого сына заменит.

К тому же Шуше, будучи местной повитухой (как до нее была ее мать), должна была передать свое ремесло одной из дочерей. Старшие, Зайнаб и Гезель, давно вышли замуж в соседние села и растили своих детей. А Меседу боялась крови настолько, что впадала в дурноту, даже порезавшись.

Ремесло приносило Шуше неплохой доход. Хотя в ауле проживало не так много семей, рожали местные женщины охотно и помногу, ведь это было единственным доступным им занятием, не считая ведения хозяйства. Шуше рассуждала так: когда они с Джавадом помрут, Айбала останется одна, хозяйство постепенно придет в упадок, скотину придется пустить в расход или продать, за большим огородом ходить она не сможет. А повитухе или денег дадут, или круг сыра завернут в тряпицу, или мешок картошки приволокут. В общем, голодной не останется.

Сама Айбала, если и догадывалась о планах матери, никогда с ней об этом не говорила. Когда Шуше в первый раз взяла ее с собой на роды (Айбале тогда только исполнилось семнадцать), она ничем не помогала, просто молча стояла в отдалении и, сжав губы в тонкую ниточку, сосредоточенно наблюдала за процессом. Когда роженица принялась кричать особенно громко, извиваясь от боли и норовя пнуть Шуше ногой, Айбала внезапно подошла к нарам и положила обе руки на выпяченный живот страдальцы. Та как-то сразу успокоилась, перестала кричать, задышала тише и только стонала сквозь зубы, когда накатывала особенно сильная схватка. Ребенок родился меньше чем через час, Шуше принимала его

сама. Айбала вновь отступила в глубь комнаты, про нее на время забыли, но, когда рядом с родильницей положили спеленатое дитя, та вдруг вспомнила о прикосновении прохладных ладоней и принялась искать Айбалу взглядом, а найдя, разразилась потоком благодарных слов, отчего Шуше испытала одновременно гордость за дочь и невольную зависть к взявшемуся у той невесть откуда дару.

Так с тех пор они и ходили вдвоем: Шуше принимала младенцев, а Айбала смотрела и накладывала ладони. Она не могла объяснить, как это делает; она вообще была немногословной.

Со временем выяснилось, что Айбала умеет снимать не только родовую боль, но и любую другую: зубную, головную, ежемесячную женскую, даже лому в суставах,

Странность заключалась в том, что ее дар действовал только на посторонних женщин. Когда у Шуше прошлой зимой прихватило спину, да так, что она два дня разогнуться не могла, Айбала по нескольку часов просиживала у лежанки матери, держа ладони на ее пояснице, но легче Шуше не становилось. Спина неожиданно прошла сама, когда дойная корова, запертая в хлеву вместе с прочей живностью, внезапно вознамерилась умереть — вероятно, в сено попал крестовник¹. Услышав из-под пола² утробное мычание и грохот коровьего тела,

¹ *Крестовник* — сорное растение, многие виды которого вырабатывают алкалоиды, концентрация которых может вызвать отравление у людей и животных.

² В дагестанских аулах скотину зимой часто держат на полуподвальных этажах домов. Животные не только согреваются сами, но и отдают дому часть своего тепла, таким образом происходит его естественный круговорот.

бьющегося в судорогах о стенки клетки, Шуше подскочила и понеслась вниз, мигом позабыв про спину и прочие хвори. Корову удалось спасти, а спина с тех пор больше не болела. Но руки Айбалы были тут, безусловно, ни при чем.

Что до Меседу, то ее примерно раз в месяц мучили сильные головные боли. В такие дни она плотно занавешивала окно в спальне, ложилась на топчан, покрывала лоб смоченной в холодной воде тряпицей и лежала, боясь пошевелиться: любое движение вызывало позыв исторгнуть из себя все съеденное. Айбала пыталась помочь сестре, но попытки эти не приносили облегчения. В конце концов Меседу заявила, что таково испытание, ниспосланное ей Аллахом, и любая попытка облегчить ее страдания есть не что иное, как противление воле Его, что само по себе грех, не говоря уже о сомнительной способности Айбалы заговаривать боль.

Однако роженицы аула не разделяли мнения Меседу. Их не волновало, откуда взялся у Айбалы ее дар, и, корчась в схватках, они вряд ли задавались вопросом насчет угодности их боли Всевышнему. Таким образом, за четыре года Айбала облегчила родовые муки не меньше сотни раз, причем большинству женщин — дважды, а нескольким особо плодовитым — даже трижды.

Роды Фазилат ожидали со дня на день и надеялись, что ребенок потерпит до окончания снегопада или, если снегопад пришел надолго (а старожилы предрекали именно это), то хотя бы до ослабления морозов. В самом деле, кому охота выбираться из теплого материнского лона в самый что ни на есть лютый холод? Однако ребенок решил иначе, поэтому младший брат мужа Фазилат, Цевехан Мяршеев,

был отправлен к Галаевым с наказом привести не только повитуху, но и ее дочь.

Шуше и Айбала, укутанные накидками поверх пальто, в башмаках на толстой подошве, осторожно, нащупывая ногой каждую ступеньку под толстым слоем снега, спустились с крыльца во двор и вышли за калитку.

Вокруг была непроглядная тьма. Луна, если и рискнула появиться в эту ночь на небе, сразу спряталась за тучами и снежной завесой. Все соседи спали, ни в одном окне не горел даже слабый огонек. Повесив сумку на плечо и крепко прижав ее к боку, Шуше другой рукой подхватила Айбалу под локоть — не столько заботясь о дочери, сколько полагаясь на ее молодые, а потому более крепкие ноги и хорошее зрение. Хотя она и ходила этой дорогой тысячи раз, в такую ночь предосторожность не была излишней.

Путь предстоял неблизкий: на другой конец аула, по извилистым улочкам, мимо спрятавшихся за каменными оградами домов с плоскими крышами, многоярусными террасами спускающихся по склону крутой горы к узкому ущелью далеко внизу.

Весной и летом улочки давали желанную прохладу, укрывали от палящих лучей солнца, позволяли любоваться окрестными видами, щедро открывающимися с любой точки аула, и являлись средоточием местной жизни. На перекрестье каменистых тропинок останавливались женщины, чтобы обменяться новостями или обсудить свежие сплетни, в тупике крайней улочки, у родника, парни караулили девушек, а те, конечно, об этом знали, но всякий раз возмущенно вскрикивали и норовили натянуть на лицо край платка, который почему-то все никак не хотел натягиваться.

Осенью проливные дожди превращали землю в вязкую, скользкую жижу, и даже доски, проложенные от одного дома до другого, не гарантировали удачного прохода без единого падения. Грязь заносилась в каждый дом, и хозяикам приходилось мыть полы по два, а то и по три раза на дню. Не помогло ничего: ни резиновые калоши, ни разостланные в сенях влажные тряпки, ни стародавняя традиция оставлять уличную обувь у входа.

Зимой снег выпадал редко, а если и выпадал, то быстро таял. Легкий морозец прихватывал надоевшую за долгие осенние месяцы грязь, и по улочкам можно было сносно передвигаться.

Однако в иные зимы долину и горы окрест накрывала непогода. Небо становилось рыхлым, низким, зловеще-темным. Это были даже не тучи, а непроницаемый покров, на исходе второго или третьего дня прорывавшийся снегопадом, который продолжался иногда до нескольких недель. Аул становился полностью отрезанным от села, расположенного в долине за ущельем, куда вела единственная дорога-серпантин. Такие зимы случались в этих краях примерно раз в десятилетие, и предугадать их было невозможно, разве что по разрозненным приметам, поэтому, пережив несколько таких зим, хозяйки теперь каждый год готовились к ним заранее, на исходе лета заготавливая больше припасов, чем требовалось для прокорма семьи и скотины. Еда зимой ценилась на вес золота и никогда не пропадала: самому завалиющему овощу хорошая хозяйка находила применение.

В ауле был магазин, в котором продавали самое необходимое: спички, соль, сахар, муку, подсолнечное масло, маргарин и кое-какие крупы. Очень

редко и почему-то только в теплое время года завозили консервы: говяжью тушенку в жестяных банках, рыбное месиво в томатном соусе или фасоль в собственном соку. Весть об этом разносилась по аулу еще до того, как грузовик, доставлявший из долины товары, можно было разглядеть невооруженным глазом. Директор магазина (он же — продавец, кассир, кладовщик и сторож) Коркмас Сулейманов понимал, что в ближайшие часы присесть ему не придется, когда видел внезапно образовавшуюся волнующуюся очередь из нескольких десятков женщин, которых некая неведомая сила сгоняла из домов на площадь; многие даже не успевали снять передники, а у некоторых руки были запорошены мукой. И точно: спустя четверть часа у магазина, взвизгнув шинами, лихо тормозил выдавший виды грузовик с крытым кузовом, и Коркмас начинал приемку товара. Прежде чем разложить дефицитные банки на полках и распахнуть перед женщинами запертую на шпингалет дверь, он припрятывал коробку-другую в сарае, служившем складом, для своей матери, жены, тещи, двух замужних дочерей и вдовой сестры: негоже им толкаться в общей очереди, имея в родственниках директора магазина.

Консервы припасали к зиме и использовали, только когда все домашние припасы подходили к концу. Также закупали впрок масло, муку, соль и сахар. Если на аул обрушивалась метель и дорогу заносило снегом, доставка продуктов прекращалась и полки магазина стремительно пустели. Последней всегда заканчивалась соль, и тогда Коркмас вешал на дверь табличку с сердитой надписью: «Ничего нет! Закрыто!», запирали магазин и уходил домой — ждать следующего грузовика.